

14
Ю. Герман

РАССКАЗЫ
О
ДЗЕРЖИНСКОМ



Декабрь 1952

Ю. Герман

РАССКАЗЫ
О
ДЗЕРЖИНСКОМ



Рисунки Н. Куликова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА • 1952 • ЛЕНИНГРАД

Отзывы и пожелания издательству на-
правляйте по адресу: Ленинград, набереж-
ная Кутузова, 6. Дом детской книги
Детгиза.

Одним из замечательных борцов за свободу и счастье трудового народа был выдающийся деятель большевистской партии и Советского государства, ближайший соратник и друг Ленина и Сталина — Феликс Эдмундович Дзержинский.

Еще юношей вступил Дзержинский на путь борьбы с царским правительством за дело рабочего класса.

Царские палачи быстро поняли, как опасен для них такой человек, как Дзержинский, и всячески преследовали революционера.

Но Дзержинский стойко и мужественно переносил все невзгоды. Вера в победу революции удесят�еряла его силы; аресты и тюрьмы не смогли сломить его волю. Недаром называли его Железным Феликсом.

После Великой Октябрьской социалистической революции бывшие помещики и фабриканты, царские чиновники и министры оподчились против молодой советской власти. Иноземные полчища вторглись на нашу Родину. Американские, английские, французские банкиры не жалели денег для того, чтобы разгромить государство рабочих и крестьян. Капиталисты засылали в наши города и сёла наёмных шпионов, вредителей и убийц, которые пытались всеми способами сорвать великое дело социалистического строительства.

Совет Народных Комиссаров по предложению товарища Ленина принял постановление о создании ВЧК — Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с врагами советской власти. Руководителем ВЧК был назначен боевой соратник Ленина и Сталина — Железный Феликс.

Весь советский народ помогал Чрезвычайной Комиссии. Славные чекисты под руководством товарища Дзержинского стали грозой врагов Страны Советов. Товарищ Сталин называл ВЧК неусыпным стражем революции, обнажённым мечом пролетариата.

Во время войн и разрухи много детей оказалось беспризорными. Дзержинский и его славные чекисты на протяжении многих лет спасали от тисков голода и безнадзорности тысячи детей и воспитали из них достойных граждан великого Советского Союза.

Страна наша воевала и строила. Нормальная жизнь города и деревни во многом зависела от работы железных дорог. Тогда партия большевиков назначила Дзержинского народным комиссаром путей сообщения. Первый чекист стал организатором восстановления наших железных дорог.

Пламенный патриот Родины, верный ученик и соратник Ленина и Сталина, товарищ Дзержинский много помог делу восстановления хозяйства нашей страны. Он участвовал в закладке первых гигантов социалистической промышленности.

Умер Феликс Эдмундович 20 июля 1926 года.

Прощаясь с ним, товарищ Сталин писал:

«Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь весь пройденный путь товарища Дзержинского — тюрьмы, каторгу, ссылку, Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, восстановление разрушенного транспорта, строительство молодой социалистической промышленности, — хочется одним словом охарактеризовать эту кипучую жизнь: «ГОРЕНИЕ».



ОТЕЦ

За ширмой в кабинете стояла кровать.

Когда не было больше сил работать, Дзержинский уходил за ширму, стягивал сапоги и ложился. Он спал немного — три-четыре часа. Никто никогда не будил его. Феликс Эдмундович просыпался, умывался холодной водой и, отворив дверь в комнату секретаря, говорил:

— Я проспал, кажется, целую вечность?

Секретарь коротко докладывал обо всём новом, что произошло за эти часы. Дзержинский зажигал настольную лампу и садился работать. Яркий свет электрической лампочки падал на письма, записки, рапорты. Феликс Эдмундович внимательно читал, подчёркивал, иногда задумывался, словно решал трудную задачу.

Вот рапорт, тут написано, что готовится выступление против советской власти и враги собирают для этого деньги. Известно, что владельцы торгового дома «Эдвард Литл» внесли крупную сумму. Московский «народный» банк и табачный фабрикант Богданов снабжают деньгами врагов революции — это тоже известно. Но кто внёс эту круглую сумму в

пятьсот тысяч рублей? И что это за письмо, написанное по-французски? А эта сумма в пятьсот тысяч рублей? Откуда она взялась? Её привезли из-за границы, но кто? Тот же, кто написал письмо?

На листе бумаги Феликс Эдмундович медленно, точными, ровными линиями чертил план вражеской организации: в центре торговый дом «Эдвард Литл». От него линия за границу — в Лондон, а оттуда в Нью-Йорк, в Америку. Внизу на чертеже табачный фабрикант Богданов, банк, денежные суммы. . .

Ещё линия, ещё. . .

Обдумывая, Феликс Эдмундович расхаживал по своему кабинету из угла в угол. Глаза его поблёскивали, руки он держал засунутыми за простой, солдатский ремень. И опять возвращался к столу, к плану, на котором были вычерчены квадраты, линии, кружки, треугольники — вражеский заговор. . .

Не торопясь, шаг за шагом, Дзержинский решал задачу, которую только он мог решить.

*

Поздними вечерами секретарь собирал в кабинете Дзержинского чекистов на совещания.

Приходили молодые рабочие-коммунисты, плохо и бедно одетые: кто в обмотках, кто в огромных, разношенных, похожих на бутсы ботинках, кто в пиджаке, кто в сатиновой косоворотке.

Приходили бывшие солдаты в гимнастёрках, выцветших под жарким солнцем, в порывевших, разбитых сапогах.

Приходили седоусые старики-путиловцы, железнодорожные машинисты, черноморские и балтийские матросы. . .

Все эти люди теперь были следователями, комиссарами, уполномоченными ВЧК.

Сидя за своим столом, поглядывая то на одного, то на другого чекиста, Дзержинский докладывал. Негромким и спокойным голосом, очень коротко, ясно и понятно объяснял, как надо подготовиться к тому, чтобы раскрыть новую вражескую организацию.

И чекисты слушали его, затаив дыхание.

Потом Дзержинский спрашивал:

— Вопросы есть?

На все вопросы, даже самые незначительные, он подробно отвечал. Потом весь план обсуждался, и Дзержинский внимательно выслушивал все предложения.

— Это верно, — иногда говорил он. — Вы правы.

Или:

— Это неверно. Если мы пойдём на это, — всё дело может сорваться.

И объяснял почему.

А потом, в качестве примера, рассказывал одно, другое, третье дело из чекистской практики.

Дело поджигателей Рязанского вокзала...

Дело с поездом из Саратова. Этот поезд с продовольствием для голодающего Петрограда заговорщики не приняли в Петрограде, и его пришлось очень долго искать...

Или история «Общества борьбы с детской смертностью». Под таким названием скрывалась контрреволюционная организация заговорщиков, которая пудами хранила взрывчатые вещества, десятки пулемётов, сотни винтовок и гранат!

А «Союз учредительного собрания»?

А «Белый крест»?

И каких только не было названий вражеских, заговорщицких организаций! Даже — «Чёрная точка».

Спокойно и серьёзно Дзержинский говорил о том, что было правильно в распутывании дела, а что неправильно, где медлили и где торопились, как нужно было поступать и как поступали.

Он ещё и ещё обсуждал старые дела из чекистской практики. На них Феликс Эдмундович учил людей трезвому спокойствию и энергичной находчивости в предстоящей работе.

Иногда во время такой беседы вдруг звонил телефон. Дзержинский брал трубку.

— Да, — говорил он. — Слушаю. Здравствуйте, Владимир Ильич!

В кабинете становилось так тихо, что было слышно, как дышат люди. Дзержинский говорил с Лениным. Его бледное лицо слегка розовело. А чекистам в такие минуты казалось, что Ленин говорил не только с Дзержинским, но и с ними.

Иногда после совещания Феликс Эдмундович находил на своём столе два куска сахара, завёрнутые в папиросную бумагу, пакетик с табаком или ломоть серого хлеба в бумаге.

В стране был голод, и Дзержинский недоедал так же, как и все. Чекистам было неловко просто принести ему два куска сахара — свою дневную порцию: вдруг рассердится. И они оставляли на столе свои подарки, словно забыв аккуратные пакетики.

Но Дзержинский не сердился.

Он разворачивал бумагу, в которой были завёрнуты два кусочка сахара, и необыкновенная, грустная улыбка появлялась на его лице.

*

Заглаза чекисты называли его отцом.

— У отца нынче совещание, — говорили они.

Или:

— Отец вызывает к себе.

Или:

— Отец поехал в Кремль к Владимиру Ильичу и к товарищу Сталину.

Иногда по ночам он ходил из комнаты в комнату здания ЧК.

В расстёгнутой шинели, в старых сапогах, слегка покашливая, он входил в кабинет молодого следователя. Следователь вставал.

— Сидите, пожалуйста, — говорил Дзержинский и садился сам.

Несколько секунд он пытливо всматривался в лицо своего собеседника, а потом спрашивал:

— На что жалуетесь?

— Ни на что, Феликс Эдмундович, — отвечал следователь.

— У меня другие сведения. Я знаю, что у вас больная жена. И дров нет. Мне это точно известно.



Следователь растерянно молчал.

— И сын ваш один дома с больной матерью, — продолжал Дзержинский. — Так?

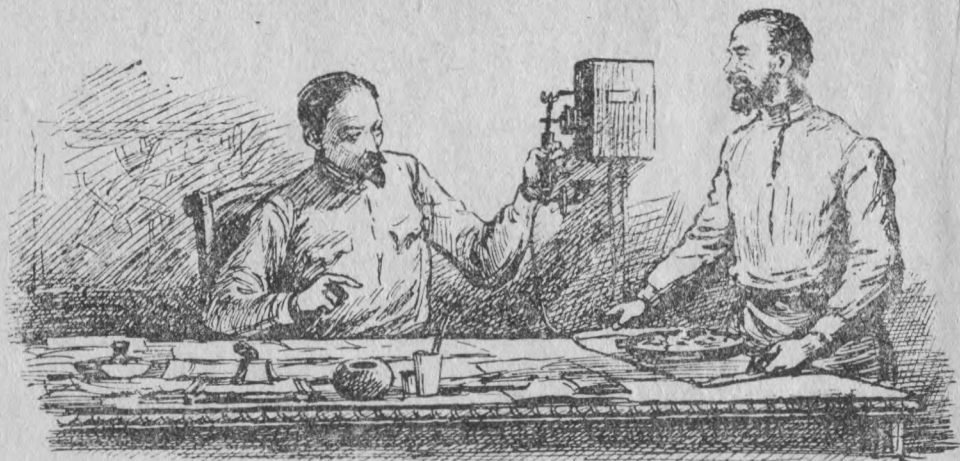
Вынув из кармана маленький пакетик, Дзержинский весело говорил:

— Это сахар. Тут целых два куска. Настоящий белый сахар, не какой-нибудь там сахарин. Это будет очень полезно вашей жене. Возьмите. А с дровами мы что-нибудь придумаем.

Часа два он ходил от работника к работнику. И никто не бывал забыт в такие обходы. Он разговаривал с начальниками отделов и с машинистками, с комиссарами и курьерами, и для всех у него находилось бодрое слово, приветливая улыбка, весёлое «здравствуйте».

— Отец делает докторский обход, — говорили чекисты.





КАРТОШКА С САЛОМ

Страна тогда голодала, голодали и чекисты.

В доме на Лубянке, где помещалось Чека, большими праздниками считали те дни, когда в столовой подавали суп с кониной или рагу из конины.

Обедал Дзержинский вместе со всеми — в столовой — и сердился, когда ему подавали отдельно в кабинет.

— Я не барин, — говорил он, — успею сходить пообедать. Но часто не успевал и оставался голодным.

В такие дни чекисты старались позаботиться о нём и накормить.

Один чекист привёз как-то восемь больших картофелин, а другой достал кусок сала.

Картошку почистили, стараясь шелуху срезать потоньше. А очищенные картошки порезали и поджарили на сале.

От жареного сала по коридору шёл вкусный запах. Чекисты выходили из своих комнат, нюхали воздух и говорили:

— Невозможно работать. Такой запах, что кружится голова.

Постепенно все узнали, что жарят картошку для Дзержинского.

Один за другим приходили чекисты на кухню и советовали, как жарить.

— Да разве так надо жарить, — ворчали некоторые. — Нас надо было позвать, мы бы научили. . .

— Жарят правильно, — говорили другие.

— Нет, неправильно, — возражали третьи.

А повар вдруг рассердился и сказал:

— Уходите отсюда все. Двадцать лет поваром служу — картошку не зажарю? Уходите, а то я нервничаю.

Наконец картошка изжарилась. Старик-курьер понёс её так бережно, будто шёл не по полу, а по скользкому льду и нёс не картошку, а хрупкую стеклянную вазу.

— Что это? — спросил Дзержинский.

— Кушанье, — ответил курьер.

— Я вижу, что кушанье, — сердито сказал Дзержинский. — Да откуда картошку взяли? И сало. Это что за сало? Лошадиное?

— Зачем лошадиное? — обиделся курьер. — Не лошадиное, а свиное.

Дзержинский удивлённо покачал головой, взял было уже вилку, но вдруг спросил:

— А другие что ели?

— Картошку с салом, — подумав, сказал курьер.

— Правда?

— Правда.

Дзержинский взял телефонную трубку и позвонил в столовую. К телефону подошёл повар.

— Чем сегодня кормили работников Чека? — спросил Дзержинский.

Повар молчал.

— Вы слушаете? — спросил Дзержинский.

— Сегодня на обед была картошка с салом, — сказал повар.

Дзержинский повесил трубку и вышел в коридор. Там он спросил у первого же встреченного комиссара ВЧК:

— Что вы ели на обед?

— Картошку с салом, Феликс Эдмундович!

Еще у двух чекистов Дзержинский спросил, что они ели.

— Картошку с салом! — невозмутимо ответили оба.

Тогда Феликс Эдмундович вернулся к себе и стал есть.

Так чекисты заботились о Дзержинском.





В ШКОЛЕ

Однажды весенним утром Дзержинский шёл на работу. В Москве было грязно, пыльно и голодно: это был год разлуки, тяжёлый год в жизни советской страны.

Впереди Дзержинского шла старуха с палкой. Кто не знает этих старух, согбленных временем, с угасшим взором, шамкающих, почти страшных? Она шла медленно, но и Дзержинский не торопился: ему хотелось подышать весенним воздухом, отдохнуть, собраться с мыслями...

Но чем дальше он шёл за старухой, тем больше она привлекала его внимание. Скорбными глазами он смотрел на её лохмотья, на её согбенную спину, трясущуюся голову, покрытую рваным серым платком. Кто она? Как, должно быть, страшна её одинокая старость! Куда она идёт? И как помочь всем этим людям — малым и старым, голодным и убогим, больным и хилым, — когда везде фронты, когда голод душит страну, когда сырой чёрный хлеб — это лакомство, а картофель — чудо?

Старуха шла, тяжело опираясь на палку и с трудом передвигая ноги, а за ней шёл Дзержинский и думал о том, что

надобно выяснить насчёт домов для престарелых и подумать, чем может чекистский аппарат помочь таким вот старухам и старикам.

У школы, из окон которой нёсся весёлый гам детских голосов, старуха присела отдохнуть на тумбу. Дзержинский вынул спички, чтобы закурить папиросу, и, закуривая, увидел, как из окна второго этажа кто-то высыпал на старуху пригоршню пепла. Старуха сидела не двигаясь, ничего не замечая, что-то шептала беззубым ртом, а пепел медленно падал на её сутулую спину, на руки, покрытые узловатыми венами.

Швырнув на тротуар незакуренную папиросу, Дзержинский вошёл в школу и спросил у сторожихи, где учительская. Сторожиха, занятая тем, что держала за ворот мальчишку, отчаянно верещававшего, сказала, что учительская будет налево, снова налево и опять налево.

— Только ноги не поломайте, бо там так темно, что только свои могут безопасно ходить. А чужие всегда падают. А один родитель — Хрисанфова Петьки папаша — завчера от такую гулю себе набил. . .

Зажигая одну за другой шипящие спички, особые спички тех лет, Дзержинский вошёл в узкий коридор, удивительный тем, что в нём были и стены, и потолок, но пола не было вовсе. Весь настил был содран, и идти приходилось по каким-то ямам и выбоинам — то по кирпичу, то по камням, накиданным без всякого порядка, то вдруг по одной доске, проложенной, как прокладывают кладки над речкой.

Повернув два раза налево, Дзержинский отыскал дверь и вошёл в учительскую как раз в ту секунду, когда бородатый сторож зазвонил в большой медный колокол, к которому была приделана для удобства деревянная ручка. Учителя один за другим стали выходить в коридор, и очень скоро Дзержинский остался вдвоём с полной седой женщиной в пенсне.

Женщина, не обращая на Дзержинского внимания, писала в большой книге, хмурилась и глядела порой в другую большую книгу, раскрытую перед ней. Цвет лица её, несмотря на полноту, говорил о том, что она не просто недоедает, а голодает, в прямом и страшном смысле этого слова. . .

— Мне бы нужно видеть директора школы, — сказал Дзержинский.

— Я — директор, — ответила женщина. — Чем могу служить?

И, сняв пенсне, она взглянула на Дзержинского большими и светлыми глазами так прямо, просто и спокойно, как смотрят только очень честные люди.

— Я — директор, — повторила женщина. — Что вам угодно? ..

Очень вежливо и кратко Дзержинский рассказал о том, как нищую старуху обсыпали из школьного окна и как вообще ведут себя ученики этой школы.

— Я довольно часто хожу здесь, — говорил Дзержинский, — и волей-неволей бываю свидетелем многих неприятных сцен. Дети из вашей школы всегда толкуются на улице: дерутся камнями, пристают к прохожим, ругаются. . .

— Это еще что! — спокойно перебила женщина. — Бывает и хуже.

— Вот даже как! — произнёс Дзержинский.

— Да, вот так.

Помолчали.

— И... ничего с ними нельзя сделать?

— Ничего.

— Вы уверены?

— Да, я так полагаю.

Опять помолчали. Дзержинский смотрел на женщину серьёзно и внимательно, и только в глубине его замечательных глаз то вспыхивали, то погасали лукавые огоньки.

— Так, — сказал он. — Что же всё-таки делать?

— Не знаю.

— Но ведь все эти истории имеют какую-то причину?

— Да, имеют.

— Тогда разрешите узнать, почему это происходит?

— Потому, что существуют люди, подобные Кауфману, — загадочно ответила директор.

И, внезапно покраснев от гнева, она рассказала, что раньше здесь была гимназия, а не так давно сюда въехал ка-

кой-то Кауфман с каким-то странным учреждением. И у него, у этого Кауфмана, есть даже такая теория — «самопоедание».

— Вы не слышали?

— Нет, не приходилось, — вежливо ответил Дзержинский.

— Теория очень простая. Так как в Москве нет дров и за дрова можно получить любые жизненные блага, то Кауфман со своим непонятным учреждением непрерывно кочует. Он ездит и занимает дома. Для его учреждения нужна одна комната, а он занимает десять, и девять из десяти сразу же ломает на дрова. От дома остаётся одна скорлупа, а там внутри — ничего нет. Все деревянные части выломаны — и полы, и стены, если там дерево, — всё! Вот это и есть «самопоедание».

— И вашу школу он так «съел»?

— Да. Но когда я заявила на него, он провалился, как сквозь землю. Теперь нет ни Кауфмана, ни его учреждения.

— Пожалуй, это не удивительно, — сказал Дзержинский.

— Но ведь кто-то же должен отвечать за его безобразия! — воскликнула директор. — Вы думаете, он «съел» одну только мою школу? Он несколько домов «съел»... И вот извольте теперь воспитывать детей, когда даже полов нет в классах... В школе темень, грязь. А Кауфман разъезжает, наверное, в шикарном автомобиле, и ему горя мало...

— Кому же вы писали? — спросил Дзержинский.

— Всем, — ответила директор, — и даже председателю ВЧК писала. Но полы новые мне всё равно никто не сделает...

— Так ведь для полов нужны доски, — сказал Дзержинский, — а где их сейчас возьмёшь?...

— И даже телефон сорван, — не слушая, сказала директор, — вы подумайте! Вот здесь висел телефон, а он его сорвал. Ну зачем ему телефон?

Дзержинский поднялся.

— Ну, до свидания! — сказал он. — Авось как-нибудь вашему горю можно будет помочь. Но только, мне кажется, вы неправы насчёт детей: нельзя их так распускать, даже если в школе всё изломано.



В Чека он спросил о деле Кауфмана. Ему сказали, что это дело о жуликах, которые, прикрываясь маркой советского учреждения, занимались хищничеством. Сам Кауфман умер за день до ареста, остальных хищников осудили. Потом Дзержинский позвонил по телефону в Наркомпрос Луначарскому и рассказал о школе, в которой побывал.

— Надо им помочь, Анатолий Васильевич, — говорил он, — это ведь просто невыносимо. Я знаю, что вам трудно, — давайте вместе, соединёнными усилиями — Народный комиссариат просвещения и ВЧК — займёмся этим делом. Хорошо? И, прикрыв телефонную трубку ладонью, Дзержинский спросил у секретаря:

— У нас во дворе лежали доски; есть они, или их уже нет?

— Сегодня утром были, — сказал секретарь.

— Ну, так вот, — опять в трубку заговорил Дзержинский, — вы слушаете, Анатолий Васильевич? У нас нашлось немного досок, теперь вы поищите у себя, потом мы сложимся и осуществим это дело. Будьте здоровы!

★

На следующий день Луначарский заехал в школу.

— Здравствуйте, товарищ, — с порога сказал он. — Что у вас тут за несчастье с полами? Давайте поговорим... Мне вчера звонил Дзержинский. Он побывал у вас...

— Какой Дзержинский? — спросила директор.

— Как какой?

— У нас тут никого не было, — сказала директор, но вдруг, взявшись пальцами за виски, тихо ахнула.

— Ну, вот видите, — сказал Луначарский, — а вы — «какой Дзержинский»? Рассказывайте, что у вас с полами?





ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТРОГРАДА В МОСКВУ

Секретарь молча вошёл в кабинет к Дзержинскому и положил на стол телеграмму:

«В Петрограде убит Урицкий».

Дзержинский прочитал, потёр лоб ладонью. Потом взглянул на секретаря.

Секретарь хорошо знал это мгновенное выражение глаз Железного Феликса. Оно появлялось в глазах Дзержинского тогда, когда он узнавал о новых происках врагов советской власти. Теперь жертвой наглых убийц стал видный деятель советского государства — Урицкий.

Зазвонил телефон.

Дзержинский взял трубку.

— Да, Владимир Ильич. Хорошо, Владимир Ильич.

Повесил трубку и сказал секретарю:

— Еду в Петроград.

В Петрограде, в Смольном, ему дали вторую телеграмму.

Он долго читал её, не веря своим глазам. Ему казалось, что это страшный сон.

В Москве тремя выстрелами тяжело, может быть смертельно, ранен Ленин.

Ленин при смерти.

В Ленина стреляли.

Вчера он слышал голос Ленина, а позавчера Владимир Ильич, весело посмеиваясь глазами, говорил с ним вот так, совсем близко...

Ещё и ещё раз он перечитал телеграмму. Потом спросил: — Когда идёт поезд в Москву?

И, не дослушав ответа, пошёл на вокзал. Ему говорили о специальном вагоне, — он не слушал. Он шёл в расстёгнутой шинели, в больших, со сбитыми каблуками болотных сапогах. За его спиной была солдатская котомка, фуражку он низко надвинул на глаза. И никто не видел, какое выражение было в его глазах — там, под низко надвинутым козырьком фуражки.

В Ленина? Стрелять в Ленина?

Так он пришёл на вокзал.

Это был вокзал тех трудных лет — душный, закоптелый, неубранный.

Медленно, вместе с толпой он вышел на перрон, добрался до какого-то, стоявшего на дальних путях, состава. И стал расспрашивать, когда этот поезд доберётся до Москвы. Выяснилось, что к утру.

Состав был смешанный — и пассажирские вагоны, и товарные, и даже угольная платформа. Всё было занято. На крышах лежали вплотную, тело к телу. В тамбурах, на тормозных площадках, на буферах стояли люди.

Люди облепили даже паровоз. Это был «скорый поезд».

Раз и другой Дзержинский прошёл вдоль состава, — нигде не было места. Потом сказал бородатому красноармейцу:

— Подвинься, товарищ.

Бородатый уступил Дзержинскому часть ступеньки. Потом они вместе перешли на буфер.

О чём думал Дзержинский в эту звёздную, холодную августовскую ночь?

Быть может, он представлял себе Ленина: его лицо, фигуру, манеру говорить, его глаза. Как они виделись в последний раз? О чём говорил Ленин? Кажется, это был не длинный разговор. Точный, ясный и простой, как всегда.

Может быть, он вспомнил тюрьмы, в которых провёл одиннадцать лет. Александровский пересыльный централ? Орловскую каторжную тюрьму? Тюрьму в Ковно? Ссылку в Сибирь?

Или думал о том, что он, Дзержинский, председатель ЧК, что его долг — охранять жизнь вождей, и что самый великий вождь мира, может быть, умирает сейчас в эти минуты.

Может быть, он вспоминал слова Ленина в ту ночь, когда у Смольного горели костры и на ступеньках стояли пулемёты, в ту ночь, когда он, Дзержинский, был назначен председателем ЧК.

— Немедленно приступайте к работе, — сказал Ленин на прощанье.

В ту ночь Дзержинский вышел из Смольного и оглянулся — поискал глазами окно комнаты, в которой остались Ленин и Сталин. Ленин у телефона, и Сталин с потухшей трубкой в руке.

Никто не знал, о чём думал Дзержинский в эту августовскую ночь.

В Москву он приехал ещё более похудевший, с крепко сжатыми губами, с резкой морщинкой на лбу.

Вошёл к Ленину и встал у двери. Владимир Ильич был без сознания, бредил.

Дзержинский постоял у дверного косяка не долго, минут пять. Потом, тяжело дыша, спустился с лестницы и, всё ускоряя шаг, зашёл за угол дома и прислонился к кирпичной стене.



Тут ему показалось, что кто-то взял его за горло. Он потряхнул головой, стиснул зубы, дышать всё-таки было нечем, не хватало воздуха.

Потом из его глаз выкатились две слезы. Только тогда он понял, что плакал. Но ему не стало легче. Пожалуй, ему сделалось ещё тяжелее.

Он вышел из-за дома и быстро пошёл к воротам Кремля.





В ПОДВАЛЕ

Как-то поздней ночью Дзержинский шёл домой. Была мозглая осень. Моросило, стоял туман. Возле старого, полуразрушенного дома собралась толпа. Дзержинский подошёл, послушал разговоры. Из подвала дома доносился глухой, сердитый голос: там кто-то бродил, чиркал спичками и ругался.

— Что случилось? — спросил Феликс Эдмундович.

— Да вот мальчишка, беспризорный, что ли, — сказала женщина в тулупе, — залез в подвал, да, видно, и заболел тифом. Лежит без сознания, а вынести невозможно. Окна высокие, и дверь завалило. Муженёк мой там ходит, ищет выхода.

Дзержинский ушёл и через четверть часа вернулся с десятком красноармейцев. Красноармейцы несли ломы, кирки, лопаты, носилки.

Отбили штукатурку, разобрали по кирпичу часть стены и влезли в подвал.

Дзержинский влез первым.

Мальчика нашли в дальнем углу. Он был в забытьи и стонал едва слышно.

Дзержинский зажёл сразу несколько спичек и стал возле мальчика на колени.

— Его крысы изгрызли, — глухо сказал он, — вот руку и плечо тоже. Он заболел, видимо, потерял сознание, а крысы накинудись на него. Посветите мне, я его вынесу.

Он поднял мальчика на руки и, стараясь не споткнуться, бережно понёс его к пролому в стене.

Уже светало.

Попрежнему возле дома стояла толпа.

Здесь Дзержинский положил мальчика на носилки, красноармейцы подняли их и понесли. Феликс Эдмундович пошёл вслед.

Когда красноармейцы и Дзержинский исчезли в дожде и тумане, женщина в тулупе спросила:

— А кто этот, который мальчишку вынес? Худой какой. И лицо усталое.

Неизвестный матрос в бескозырке ответил женщине.

— Это Дзержинский, — сказал он, — председатель ВЧК.

А председатель ВЧК Дзержинский тем временем шёл за носилками, изредка вытирая мокрое от дождя лицо и покашливая.

Домой в эту ночь он опять не попал. Прямо из больницы, куда красноармейцы отнесли мальчика, он вернулся в ЧК, в свой кабинет, и сел за стол работать. До утра он пил кипяток и писал, а утром к нему привели на допрос бывшего барона. Этот барон назвался солдатом, и его назначили заведовать продуктовыми складами для госпиталей. Из ненависти к советской власти барон облил всю муку, какая только была на складе, керосином. Раненые и больные красноармейцы остались без хлеба.

— Садитесь, — сказал Дзержинский барону.

Барон сел.

Дзержинский медленно поднял на него глаза.

— Ну, — сказал он негромко, — рассказывайте.

И барон, который до сих пор не сознавался в своём пре-

ступлении, вдруг быстро стал говорить. Он говорил и всё пытался отвести свои глаза от взгляда Дзержинского, но не мог.

Дзержинский смотрел на него в упор, гневно, презрительно и холодно. И было ясно, что под этим взглядом невозможно лгать: всё равно не поможет.

Только один раз он перебил барона, — тогда, когда тот назвал его товарищем.

— Я вам не товарищ, — негромко сказал Дзержинский.





СЛУЧАЙ

Красноармеец был такой молодой, что еще ни разу не брился. Лицо у него было круглое, розовое, детское, и глаза круглые, как пуговицы. Но в длинной шинели, в шлеме с высоким шишаком и тяжёлых юфтовых сапогах, да еще с револьвером на боку, он выглядел сносно — боец как боец, не хуже и не лучше других.

Он шёл, слушал, как скрипят на ногах новые сапоги, только сегодня полученные со склада, и, чтобы ловчее было идти, насвистывал военный марш, который обычно играл полковой оркестр. А когда попадалась на пути невъбитая витрина, красноармеец замедлял шаг и, как в зеркале, не без удовольствия оглядывал себя.

На ходу он читал вывески над пустыми заколоченными магазинами. Вывески были разные, и красноармейцу вдруг сделалось грустно от этих вывесок и от того, что на них было написано: и колбаса, и ветчина, и сахар, и масло, и, главное, баранки. Около вывески «Кондитерские изделия, булки и ба-

ранки» красноармеец даже остановился, поднял голову и долго, с тоской в глазах, рассматривал золочёные деревянные булки и баранки, подвешенные над дверью бывшего магазина.

«Вот несчастье с этим желудком! — думал он. — Не понимает, что хлеба нет, и мяса нет, и сметаны нет. Нет продовольствия, а ему подавай!»

Так красноармеец шёл и шёл и всё рассуждал сам с собой, как вдруг увидел, что женщина, которая шла впереди него, выронила свёрток.

Красноармеец поднял бумажный свёрток и ускорил шаг, чтобы догнать женщину.

«Военный человек должен быть вежливым, — думал он, — должен подавать пример гражданскому населению. И, пожалуй, что этим своим поступком я подаю пример».

Тут он споткнулся и уронил свёрток. Свёрток косо упал на тротуар, раскрылся, и тотчас ветер понёс по улице выпавшие из него листочки.

Обругав себя за неловкость, красноармеец бросился ловить листочки, гонимые морозным ветром, поймал все и стал сдувать с них снег. Вдруг он заметил, что листочки вовсе не гражданские, не письма и не записки, а настоящие военные планы, начерченные очень мелко искусной рукой. На одном из них было изображено расположение батарей, на другом — артиллерийский склад, на третьем... Третий листочек красноармеец не стал разглядывать.

— Я извиняюсь, — негромко сказал он, сунул свёрток в карман и, топая сапогами, побежал за ушедшей женщиной. Она шла быстро, стройная, в бархатной шубке с большим меховым воротником. Красноармеец испугался: вдруг она возьмёт да и свернёт в какой-нибудь подъезд, — ищи её тогда. Но женщина не сворачивала, а он бежал всё быстрее, так что ветер шумел в ушах и колотилось сердце, до тех пор, пока не догнал и не взял её за рукав.

Женщина взглянула на него, вырвалась и побежала.

— Стой! — крикнул красноармеец тонким голосом. — Стой! Эй, граждане, товарищи, лови шпионку!

И все, кто шёл до сих пор спокойно, побежали и закри-

чали каждый своё. Красноармеец бежал впереди всех сначала по одной улице, потом по другой, потом свернул в переулок.

★

Переулок оказался тупиком, и женщине в бархатной шубке некуда было бежать.

Она стала у закрытых железных ворот и, задыхаясь от бега, крикнула:

— Все назад! Стрелять буду!

Красноармеец молча смотрел на неё. Она потеряла шляпу, волосы у неё растрепались, в руке поблёскивал никелированный пистолет.

— Назад! — повторила женщина. — Всех перестреляю и сама застрелюсь!

«Семь зарядов, — рассуждал красноармеец, — но только вряд ли она умеет стрелять!»

В тупичок всё прибывали и прибывали люди, и, как на грех, не было ни одного военного.

Красноармеец вынул свой наган. Застрелить её? Но что толку? Таковую дамочку надо доставить куда следует в живом виде.

— Злая! — сказал кто-то густым басом. — Вон как смотрит — точно сейчас съест.

— Куси! — закричал мальчишка в солдатской папаше и спрятался в толпу.

Подняв наган, красноармеец пошёл вперёд. Шпионка выстрелила. Он нагнулся, и пуля просвистела над его головой. Теперь и он выстрелил для острастки вверх.

— Назад! — крикнула шпионка.

Красноармеец ещё раз взглянул на неё. Теперь она была ближе. Глаза у неё светились, как у кошки, красивое лицо было совсем белым, а на руке сверкало кольцо с бриллиантом.

«Покушала, наверно, на своём веку баранок!» — подумал почему-то красноармеец, вспомнив вывеску булочной, нагнулся и побежал вперёд.

Она выстрелила ещё два раза.

«Не умеет стрелять», — решил он и ударил её по руке с пистолетом. Пистолет выстрелил в воздух и упал.

Красноармеец сунул ствол нагана ей в лицо и велел под-
нять руки вверх. Но она не подняла. Тогда он принялся вя-
зать её, а она вырывала руки и негромко со злобой говорила:

— Не смейте! Отпустите меня, слышите? Я вам заплачу
золотом. Отпустите! Всё равно вас всех повесят...

— Не соображаешь, что говоришь! — сказал красно-
армеец. — Как так повесят? Ты, что ли, повесишь? Какая на-
шлась! «Повесят»!

Потом её повели в Чека. Красноармеец насупил и мол-
чал.

«Хотел ей вежливость оказать, — обиженно думал он, —
а она мало того, что шпионка, так еще насакивает!»

★

Через некоторое время его вызвали к Дзержинскому.

Красноармеец собирался долго и основательно: начистил
сапоги, пришел суровой ниткой крючок к шинели и до отказа
затянул на себе ремень. И так как он любил порассуждать, то
на прощанье сказал своим товарищам:

— Надо, чтоб всё было как следует. А то товарищ Дзер-
жинский скажет: «Это что за чучело? Разве ж это красно-
армеец?» И вместо беседы получится пять суток ареста.

У секретаря он немного подождал, покуривая «козью
ножку», сделанную из махорки, смешанной с вишнёвым лис-
том. Потом отворилась дверь и вошёл Дзержинский.

— Проходите в кабинет и садитесь.

Красноармеец вошёл в кабинет, сел и снял шлем.

— Я должен объявить вам благодарность, — сказал
Дзержинский, — вы помогли раскрыть большой контрреволю-
ционный заговор.

И он внимательно, не отрываясь, поглядел на красно-
армейца.

«Вот так номер! — подумал красноармеец. — Целый за-
говор!»

Ему очень захотелось немного порассуждать, но он по-
стеснялся.

— Один из ответственных военных работников, — продол-

жал Дзержинский, — изменил нам, передался Юденичу и стал шпионом у врагов советской власти. Заодно с этим изменником был один старик-француз. Вы поймали его дочь. Таким образом мы ликвидировали заговор. А за помощь вам большое спасибо!

Потом Дзержинский немного поговорил с красноармейцем о его жизни, спросил, женат ли он, есть ли у него дети.

— Я молодой, — сказал красноармеец и сконфузился, — у меня жинки нет. Мне всего двадцать годов.

— Действительно, не очень старый, — согласился Дзержинский.

Через несколько минут отворилась дверь и два красноармейца ввели в кабинет старика с подстриженными белыми усами и в таком высоком воротничке, что старик едва поворачивал голову.

Дзержинский разговаривал с ним довольно долго. Потом старик вдруг поднялся и громко, на весь кабинет, сердито сказал:

— Это случай! Вы меня поймали случайно.

— Ошибаетесь, — очень спокойно ответил Дзержинский. — Мы поймали вас далеко не случайно. Если бы нас не поддерживали рабочие, крестьяне, красноармейцы и все трудящиеся, мы б вас, конечно, не поймали. Но мы, чекисты, опираемся на трудящихся. Каждый наш красноармеец понимает, что такое Чека.

— Это не моё дело! — перебил старик. — Я говорю о том, что я пойман случайно.

— Неверно, — ответил Дзержинский, — дочь ваша действительно случайно уронила свёрток, но красноармеец не случайно побежал за вашей дочерью; не случайно, рискуя жизнью, арестовал её и привёл в Чека. Верно?

И Дзержинский повернулся к красноармейцу.

— Совершенно верно, товарищ Дзержинский, — сказал красноармеец.

Сердитый старик с трудом повернул голову в своём высоком воротничке и злобно спросил:

— Ах, это ты, мерзавец, арестовал мою дочь?

— Попрошу вас быть вежливее, — ответил красноармеец. — Что дочка, что папаша — один характер. Вас попро-
буй не арестуй, так вы рады нашего брата целиком и пол-
ностью перевешать! Однако не выйдет!

★

Однажды Ленин и Дзержинский ехали в автомобиле по
набережной. Автомобиль осторожно обгонял колонну красно-
армейцев, идущих на фронт. Полковой оркестр играл марш.

— Посмотрите, Владимир Ильич, — сказал Дзержин-
ский, — посмотрите в стекло назад, скорее, а то проедем...

— Что такое? — спросил Ленин.

— Вот на правом фланге в первой шеренге идёт молодой
красноармеец. Видите?

— Этот?

— Он самый.

— Так француз утверждал, что его поймали случайно? —
усмехнулся Ленин.

— Да, — сказал Дзержинский. — А этот паренёк помог
раскрыть заговор. Совсем молодой, — небось, не брился еще
ни разу...

Тут Дзержинский был неправ: как раз сегодня красно-
армеец побрился. Он шёл бритый, в начищенных сапогах,
с винтовкой, котелком и вещевым мешком и, конечно, не знал,
что в эту минуту на него смотрят Ленин и Дзержинский.





НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На маленьком полустанке вагон загнали в тупик. Мимо прогромыхал тяжёлый состав с красноармейцами. В одной теплушке дверь была открыта, там у железной печки сидели красноармейцы и пели.

Дзержинский проводил взглядом состав и медленно пошёл по путям.

Вечерело.

Был плохой день, ветреный, с жёлто-бурыми тучами, с дождём. Беспокойный, тоскливый день.

На западе стлался дым: горела панская усадьба. Возле станции росло несколько вётел и берёз; там кричали вороны.

Дзержинский дошёл до станции, поёжился, огляделся. Невдалеке, у поломанного забора, стоял мальчик лет десяти, без шапки, босой. Его посиневшие от холода ноги были облеплены грязью.

— Ты что тут делаешь? — спросил Феликс Эдмундович. Мальчик молчал. Его худое грязное лицо выглядело почти старым.

О, эти маленькие старички!

Как хорошо знал их Дзержинский, сколько перевидал этих лиц в дни своей юности — там, в Вильно, Ковно, Варшаве! Эти, уже утомлённые, глаза, грязные руки с обломанными ногтями, землистые щёки, тупое равнодушие ко всему на свете, кроме пищи.

— Что ты здесь делаешь?

— Хлеба... — хрипло и тихо сказал мальчик.

— Откуда же тут хлеб?

Мальчик тупо поглядел на Дзержинского и не ответил.

— Пойдём, — сказал Дзержинский.

В вагоне никто не обратил внимания на то, что Феликс Эдмундович привёл мальчика.

Все знали, что, делая огромное дело революции, первый чекист постоянно о ком-то заботился, кого-нибудь кормил, подолгу разговаривал с неизвестными никому людьми.

У себя, в отделении вагона, Дзержинский налил жестяную кружку кипятку, подцвeticил кипяток малиновым чаем, положил возле кружки кусок сахару и ломоть чёрного хлеба, потом сказал:

— Пей.

В окно ударил ветер и тотчас же забарабанил дождь. Совсем стемнело. За полотном железной дороги, в деревеньке зажглись редкие огни.

— Ты откуда?

— Оттуда.

— Школа у вас есть?

— Нету, — сказал мальчик. — Ничего у нас нету.

И тоном взрослого человека добавил:

— Голодуем. Ничего нет кушать. Кору с деревьев кушаем. А кору обдирать нельзя. Пан Стахович нагайкой бьёт. Нельзя.

Мальчик допил чай, собрал в руку хлебные крошки, высыпал их в рот и ушёл.





А Дзержинский стоял у окна и смотрел, как по тёмному лугу движется под дождём крошечная фигурка маленького человека.

Ночью Феликса Эдмундовича знобило.

Он чувствовал себя простуженным, сидел в шинели, в фуражке у топящейся железной печки, грел руки и негромко говорил своим товарищам:

— Я хорошо знаю панскую Польшу. Нигде, ни в одной стране не унижают так национальные меньшинства. Белорусс и украинец для пана-помещика — не человек, а холоп, как они изволят выражаться.

К вагону прицепили паровоз, коротко проревел гудок; кто-то сказал:

— Кажется, поехали.

Дзержинский подкинул в печку несколько чурок и опять заговорил. Вагон покачивался, скрипел, печка раскалилась докрасна.

Разговор сделался общим. Говорили об украинцах, белорусах, о панах-помещиках.

Дзержинский совсем близко придвинулся к печке. Лицо его стало розовым, глаза блестели, у него, видимо, был жар.

Потом он задремал.

Дремал Дзержинский недолго — несколько минут, но товарищи заметили и стали разговаривать шопотом.

Вдруг раздался голос Феликса Эдмундовича:

— Когда кончится гражданская война, я займусь народным образованием.

Стало тихо.

Все обернулись к Дзержинскому.

Попрежнему раскачивался и гремел вагон.

— Да, да, — сказал Дзержинский, — народным образованием.

Глаза его посветлели, лицо сделалось весёлым и юным, он усмехнулся и, протянув руки к печке, сказал:

— Это, должно быть, необыкновенно, необыкновенно интересно.

И, блестя прекрасными, умными и лучистыми глазами, первый чекист вдруг встал и начал набрасывать план организации всеобщего обучения.

Это был точный, не раз продуманный план, остроумный и блестящий, как всё, что исходило от Дзержинского.

Было ясно, что он давно и упорно думал об этом и что работать в народном образовании ему очень хочется.

Люди сидели и слушали, как заворожённые. Выл паровоз, в окна вагона стучал дождь, покачивалась керосиновая лампа, и по ободранным, грязным стенкам вагона прыгали уродливые тени.

Там, в тёмной и мокрой ночи, советские войска бились с польскими панами. Дзержинский ехал на фронт. И вот ночью, полубольной, он начал рассказывать о будущем.

Он говорил о том, какие будут построены школы, и перед слушателями вырастали светлые и чистые здания со сверкающими стёклами, в которые бьёт солнце. . .

Он говорил о новом типе народного учителя, об университетах — городах науки, о замечательных научных лабораториях, о новом поколении школьников и студентов, о профессорах, о том, как рабочие и крестьяне будут учиться.

Все молчали и представляли себе это будущее, ради которого нынче идёт война.

Паровоз внезапно остановился.

Дзержинский замолчал.

— Что случилось?

Вошёл машинист и сказал, что дальше нет пути: снаряды больше чем на версту разворотили железнодорожную насыпь.

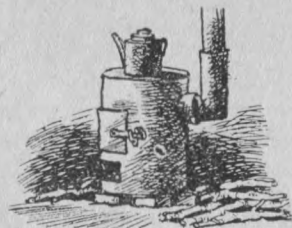
— Ну что же, — сказал Дзержинский, — ремонтировать дело длинное. Надо добираться пешком, к утру дойдём.

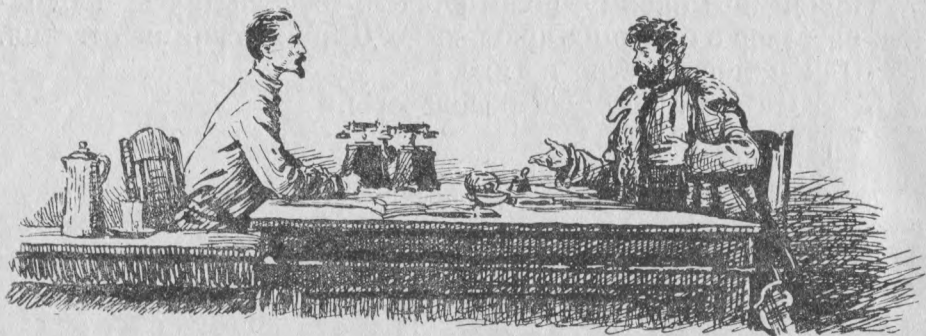
Он разложил на столе карту и подумал: «Километров двадцать».

Потом спросил:

— Оружие у всех есть? Тут могут быть всякие неожиданности — паны везде рыскают.

Проверил наган и первым выпрыгнул из вагона в темноту.
Пошли по мокрому полотну. Кто-то попытался продолжить разговор о будущих школах, но Дзержинский не ответил.
Шли молча, быстро и тихо.
А возле моста вынули револьверы.





НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Секретарь тихонько отворил дверь и пропустил перед собой невысокого человека в рваном тулупе, обросшего бородой и очень худого. Синие яркие глаза незнакомца блеснули так, будто у него был жар.

— Садитесь, — сказал Дзержинский, — и рассказывайте. Что у вас там случилось и кто вы такой? Только рассказывайте коротко: у меня мало времени.

Он достал из ящика стола аккуратно завёрнутый в бумагу кусок чёрного хлеба и стал ужинать, а незнакомец — фамилия его была Сидоренко — начал рассказывать.

Он работал в одном маленьком городке на Украине. Никакого особенного образования у него нет, но он — коммунист, читал сочинения товарища Ленина и многое другое. Работы у него хватает, каждый день с утра до поздней ночи он занят своим делом. Работа, конечно, не какая-нибудь особенно ответственная, не нарком, это само собой понятно, но в своём роде его работа тоже требует нервов и ещё раз нервов. Короче говоря, он, Сидоренко Никифор Иванович, заведует складом. Вернее, заведовал до этой проклятой истории, а теперь он уже и не заведующий, а арестант, да еще беглый, как всё равно враг, контра или вор-бандит...

— Как беглый? — спросил Дзержинский.

— От так и беглый, — ответил Сидоренко. — Такой беглый, что ни жена, ни детки не знают, или жив ихний чоловік и батько, или нет.

— Я что-то плохо понимаю, — сказал Дзержинский.

— А я так и совсем ничего не понимаю, — ответил Сидоренко и стал рассказывать дальше.

Короче говоря, один начальник, по фамилии Рубель, берёт и присылает на склад до Сидоренко курьера, старую бабку Спидначальную. И та бабка приносит Сидоренко записку, в которой чёрным по белому написано, чтобы он выдал курьеру, товарищу Спидначальной Агафье, два одеяла из фондов для личных нужд семьи так называемого товарища Рубеля.

Сидоренко, конечно, никаких одеял не дал, а старухе, бабке Спидначальной, еще прочитал хорошую отповедь, чтобы она не смела приходить с такими отношениями от своего Рубеля.

И, чтобы ей было неповадно, вредной бабке Агафье, у неё на глазах порвал в мелкие клочки отношение Рубеля.

Бабка-курьерша ушла, а он сел писать список.

Вдруг приходит — кто бы вы думали? Сам Рубель со своим наганом, в папаше и с гранатами.

— Давай одеяла!

Сидоренко отвечает:

— Нет у меня для вас никаких одеял. У меня одеяла для раненых красных бойцов, а не для вас. . .

Тогда Рубель кричит:

— Я сам пострадавший, припадочный! Какое ты имеешь право? . .

Сидоренко опять ему отвечает:

— Дай боже, чтобы все люди были такие здоровые, как тот бык Васька и как вы лично. И проходите из помещения, потому что мне надо составить список, а вы задерживаете работу.

Ну и пошёл крик. Рубель кричит: «Давай!» Сидоренко отвечает: «Не дам!» Рубель кричит: «Заставлю!» Сидоренко

отвечает: «Быка Ваську заставишь, а товарища Сидоренко не заставишь».

Короче говоря, Рубель написал на Сидоренко клевету и так подвёл дело, что хоть плачь. Будто Сидоренко предлагал ему, Рубелю, поднять восстание против советской власти, будто Сидоренко уже имеет дружков для этого дела, а сам он будто и есть главный атаман.

А свидетелем выставил курьера Спидначальную, дурную бабку Агафью. Научил её, что надо говорить, и всё в порядке.

Конечно, Сидоренко арестовали и посадили в тюрьму. Но он убежал из-под стражи и подался в Москву, к товарищу Дзержинскому.

Как добирался, это даже и передать нельзя. Но добрался.

— Так, — сказал Дзержинский. — Ну, и что же вы от меня хотите?

— Короче говоря, — справедливости, — ответил Сидоренко. — То есть я не желаю за свою честность гнить в тюрьме. В чём дело? Пускай лучше Рубель гниёт, когда он на меня такой донос написал.

Дзержинский помолчал, поглядел на Сидоренко, потом спросил:

— Послушайте, вам не приходило в голову, что вы можете убежать? Не в Москву, не ко мне, а просто убежать — и концы в воду.

— Приходило, и даже вполне свободно мог убежать: есть у меня дядя родной, мог убежать к нему...

— Ну?

— Пусть медведь бегаёт, а я не побегу, — спокойно и убеждённо сказал Сидоренко.

— Почему?

— Я к вам пришёл, — ответил Сидоренко, — к вам лично, к товарищу Феликсу Дзержинскому. Я член партии, вы тоже член партии. Вы, конечно, большой человек, но и я тоже ничего, могу пригодиться. Я так думаю, что на свете, в конечном счёте, справедливость имеется и себя всё же оказывает. Короче говоря, надо вам, товарищ Дзержинский, в моём деле подразобраться. А покуда дайте мне записочку в

тюрьму: выспаться мне надо, мороз сильный, а я вроде бы простудился.

Дзержинский улыбнулся.

— Вот вам в Дом крестьянина записка, — сказал он, — там вас и накормят. Через две недели придёте. . .

— Значит, доверяете? — спросил Сидоренко.

— Пока проверяем! — ответил Дзержинский.

★

Через две недели дело Сидоренко было выяснено. Он оказался действительно честным человеком. В секретариате Дзержинского ему выдали на дорогу три фунта хлеба, две селёдки, два грамма сахарину и шесть коробок спичек — невиданное богатство по тем временам. Кроме того, Сидоренко получил большой мандат, в котором было написано, чтоб ему оказывали содействие при проезде по железным дорогам.





НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Уже выходя из кабинета, чтобы ехать на вокзал, он вспомнил об этом человеке, возвратился к столу и, не садясь, написал короткое письмо:

«Прошу вызвать, — писал он, — и запросить его о нуждах для работы — книги, приборы (счётная линейка), обстановка его помещения, работника в помощь (писать, чертить, составлять доклады, сводки и т. д.) — и в максимально возможной мере удовлетворить. Узнайте, как он питается. Моя просьба к товарищам — обеспечить питание, ибо истощение его очевидно, а работник он прекрасный».

Передав письмо секретарю, Дзержинский сказал:

— Передайте по адресу. Проследите за исполнением. Проверьте результаты. И обязательно счётную линейку — ему она вот как нужна. И еда тоже. Не меньше счётной линейки. Да вы сами понимаете. Пока меня не будет, достаньте линейку.

Поднял воротник шинели, поглядел в заиндевшее окно и спросил:

— Холодно сегодня?

— Девятнадцать градусов, — ответил секретарь.

Дзержинский поёжился и вышел.

Внизу, вместо автомобиля, стояли санки с облезлой волчьей полостью. На облучке, в кожаных рукавицах с крагами и с кнутом, сидел шофёр Дзержинского.

С видом заправского лихача шофёр отвернул полость и, подождав, пока Дзержинский сядет в сани, рассказал, что сегодня «дошли до ручки» — последнюю машину пришлось поставить на ремонт. Совсем стало плохо с автомобилями, износились, рассыпаются на ходу.

— Ничего! — сказал Дзержинский, — наступит время, начнём свои — советские автомобили делать. . .

— Свои? Здесь? В России? — удивился шофёр.

— Да, здесь, свои! И будут у нас прекрасные машины, вот увидите! — ответил Дзержинский.

Было очень холодно, конь плёлся шагом, шофёр размахивал кнутом и кричал: «Н-но-о, соколик, ожгу!» — а когда спустились с горы, Дзержинский заметил, что шофёр по привычке ищет ногой тормоз. . .

Всю дорогу они разговаривали о будущем, теперь недалёком, о том времени, когда задымят трубы новых заводов, когда государство рабочих и крестьян будет выпускать не только автомобили, но и паровозы, будет строить большие корабли. А конь всё плёлся шагом или трусил небыстрой рысцой. . .

Наконец доехали.

Шофёр сказал на прощание, что с автомобилем куда проще, чем с одной лошадиной силой, и вздохнул:

— Действительно, товарищ Дзержинский, как бы хотелось сесть за руль своего, советского автомобиля!

Феликс Эдмундович нашёл свой паровоз с вагоном и сел отогреваться к раскалённой железной печке. Такие печурки назывались тогда буржуйками. Все спутники Дзержинского уже были в сборе. Минут через двадцать паровоз загудел

и специальный поезд наркома путей сообщения двинулся в путь.

Проводник принёс начищенный самовар, стаканы, сахар, хлеб и масло. И даже молочник с молоком.

— Вот, уже удивляться перестали на белый хлеб, масло, сахар, — сказал Дзержинский, — а помните сахарин и чай из этого... как его...

— Из лыка, — подсказал кто-то, и все засмеялись.

Потом стали рассматривать самовар и выяснили, что он выпущен заводом совсем недавно.

— И хорош, — говорил Дзержинский, — очень хорош. Вот только форма очень странная. А материал хорош.

Подстаканники тоже были советские, и ложечки советские. И о подстаканниках, и о ложечках тоже поговорили и нашли, что ложечки ничего, хороши, а подстаканники так себе...

После чая Дзержинский ушёл в своё купе, разложил на столе бумаги и углубился в работу.

Под утро специальный поезд народного комиссара пришёл на ту станцию, из-за которой было предпринято всё это путешествие.

Станция была узловая, но маленькая, и все пути её были забиты составами, идущими на Москву, Петроград, в Донбасс и дальше на юг.

Заваленные снегом, стояли цистерны с бензином для столицы. Состав крепёжного леса для шахт Донецкого бассейна стоял на дальних путях. Тут же стояли площадки с рудой для заводов Петрограда...

Молча, в шинели, с фонарём в руке, хмурия брови, ходил Дзержинский по путям, покрытым снегом. Было холодно, под ногами скрипело, от колючего мороза на глазах выступали слёзы.

Вот и ещё состав с крепёжным лесом, вот третий состав.

Сколько времени стоят здесь эти поезда? А шахтерам Донбасса нечем крепить шахты, добыча угля останавливается, шахты замирают из-за безобразий на маленькой

станции. Всероссийская кочегарка стоит под смертельной угрозой. . .

Дзержинский шёл и шёл вдоль состава, порою поднимая фонарь над головой, проверял пломбы на вагонах с крепёжным лесом, — по крайней мере, цел ли лес, не расхищен ли?

Как будто бы цел.

Но вот вагон с раскрытой дверью, ещё один и ещё. . . Лес расхищен. Вагоны наполовину пусты. А этот и совсем пуст.

Дзержинский сделал ещё несколько шагов вперёд и остановился. Перед ним стоял огромный человек в тулупе, в рваной ватной шапке, повязанной поверх платком. В руках у него было охотничье двуствольное ружьё.

— Вы сторож? — спросил Дзержинский.

— Не совсем, — сказал человек хриплым от мороза голосом.

— Что вы тут делаете?

— Пытаюсь сторожить.

— Значит, вы сторож?

Человек, повязанный платком, молчал.

— Ружьё-то у вас заряжено? — спросил Дзержинский.

— Заряжено, — сказал человек. — Дробь у меня нет, так я его солью зарядил. Говорят, от соли в высшей степени неприятные ранения бывают.

— Не знаю, — сказал Дзержинский.

— А вы кто такой, осмелюсь поинтересоваться? — спросил странный сторож.

— Я не понимаю — вы тут один сторожите? — не отвечая на вопрос, спросил Дзержинский.

— Нет, не один, — сказал сторож. — Нас тут довольно много. . . Вот, если угодно, я сейчас маневр произведу.

Сторож сунул себе что-то в рот, и в ту же секунду морозный воздух огласился пронзительным свистом.

— Теперь слушайте! — приказал сторож и поднял руку вверх, как бы призывая Дзержинского к особому вниманию.

Где-то далеко за составом, слева, раздался ответный свист, потом такой же раздался сзади, потом ещё и ещё. .

— Не спят всё-таки, — заметил Дзержинский.

— На таком морозе не больно поспишь, — ответил сторож, потом добавил: — Я дал так называемый тревожный свисток: все ко мне, аврал, по левому борту замечен корабль под пиратским флагом. . . Сейчас они все будут здесь.

«Он кажется не совсем здоров!» — подумал Дзержинский, но промолчал.

Тотчас же где-то совсем близко заскрипел снег, и из-под вагона вылез невысокий человек, весь замотанный тряпками. В руке у человека была палка, похожая на шпагу.

Потом появился крошечный человечек, вооружённый штыком. За ним прибежал ещё один — побольше, вместе с собакой, покрытой инеем.

— На моем участке никаких происшествий не замечено! — сообщил первый человек.

— У меня всё в порядке! — сказал другой.

— У меня тишина и спокойствие! — заявил тот, что прибежал с собакой.

— Можете идти по местам, — сказал странный главный сторож. — Это была пробная мобилизация. Если кто очень замёрз, пусть сходит в камбуз и выпьет стакан доброго вина. Только, чур! — маму не будить: она сегодня очень устала. . .

В ответ главному сторожу что-то пропищал тонкий голос, чавкнула овчарка, и человечки исчезли.

Дзержинскому сделалось смешно.

— Ничего не понимаю, — сказал он. — Как же при такой замечательной охране у вас могли раскрасить три вагона крепёжного леса?

— Очень просто, — ответил сторож, — охраны тогда не было. Ведь что у нас происходит? По правилам, здесь паровозы получают топливо. А топлива у нас нет. Вот и останавливаются поезда — не на чем идти дальше. Так и лес застрял крепёжный, и прочие составы. . . Но вот как-то застрял состав с людьми — люди и разворовали лес, чтобы их паровоз мог,

изволите ли видеть, итти дальше. Уж я кричал-кричал, дрался с ними, — не помогло. Сами судите, их целый состав, а я один. Ясное дело — они осилили.

Чем-то этот человек очень нравился Дзержинскому, и он с удовольствием слушал его спокойный, сиплый от холода голос.

Постояли, поговорили, выкурили по самокрутке, потом Дзержинский зашагал дальше по скрипучему снегу.

В вагон Феликс Эдмундович вернулся, когда совсем уже рассвело.

Он промёрз до дрожи, пил чай большими глотками и хмурился. Товарищи посматривали на него с опаской. Он молчал, и они тоже молчали.

Немного погодя он послал за начальником станции, а сам ушёл к себе в купе.

— Когда явится, пусть пожалует ко мне, — сказал он в дверях.

У себя он сел возле стола и задумался. В протёртое проводником окно были видны запорошённые снегом составы, бесконечные составы — с рудой, нефтью, лесом... И безжизненные, заиндевевшие паровозы.

Как просто мог поступить начальник станции, если бы он обладал доброй волей! Потратить один-два вагона крепёжного леса, затопить паровозы, доставить лес на шахты, а шахты дали бы уголь, и пробка на станции рассосалась бы в несколько дней...

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Дзержинский.

Дверь купе откатилась в сторону.

— Входите, — повторил Дзержинский.

На пороге стоял человек высокого роста, усатый, в железнодорожной форме, вычищенной и отглаженной. Из-под кителя вылезал накрахмаленный воротник.

— Вы начальник станции? — спросил Дзержинский.

— Так точно, — сипло ответил вошедший, — я начальник станции.

Голос его показался Дзержинскому знакомым, он при-

стально поглядел в бледное, усатое лицо и вдруг узнал странного ночного сторожа.

— Позвольте, — сказал Дзержинский, — мы с вами говорили ночью там, на путях...

— Так точно, — сказал начальник станции, — вы изволили со мной беседовать...

— Садитесь!

Начальник неловко сел на край дивана и поджал под себя ноги в залатанных, но начищенных до блёска сапогах.

Он глядел на Дзержинского исподлобья, и левая щека его дёргалась. Видимо, он только что побрился и, бреясь, порезался, потому что на подбородке у него был наклеен кусочек бумаги. «Торопился, — подумал Дзержинский, — торопился и порезался. И боится».

— Так, — сказал Дзержинский. — Что же у вас тут делается на станции, а?

Начальник молчал. Большой, сильной ладонью он поглаживал отворот шинели и смотрел на Дзержинского в упор.

— Можно подумать, что у вас тут просто какая-то организация саботажников и негодяев, — сказал Дзержинский, — что вы нарочно не отправляете крепёжный лес в Донецкий бассейн...

— Нет уж, — сказал начальник станции.

— Так ведь вы могли потратить один вагон леса и отправить состав...

— Мне, действительно, это приходило в голову, но я не решался.

— Почему?

— Боялся.

— Да чего, чего? — воскликнул Дзержинский.

— Боялся. Приказания такого не было.

Он был бледен, но смотрел теперь прямо, и в глазах его больше не было страха. Только щека попрежнему дёргалась, да ноги он поджимал под себя.

Помолчали.

— А сторожили вы по собственному почину? — спросил Дзержинский.

— Так точно, — ответил начальник станции. — Для того чтобы сторожить, не надо было тратить казённое добро.

— Не казённое, а народное, — сказал Дзержинский. — Народное.

— Так точно, — повторил начальник, — народное.

Опять помолчали.

— Я буду арестован? — спросил вдруг начальник станции.

— Что? — не понял Дзержинский.

— Буду ли я арестован? — повторил начальник станции.

— Нет, не будете, — внезапно улыбнувшись своей удивительной улыбкой, сказал Дзержинский. — За что же вас арестовывать? — И, дотронувшись до руки начальника станции, он добавил: — Только вот что. Вы дальше думайте сами. Я понимаю — старая Россия старалась нас всех превратить в бездушные машины, мы все были лишены самостоятельности. Но сейчас совсем не то: нам нужно думать и делать самим. За нас никто не будет думать. Поняли?

— Понял! — тихо сказал начальник станции.

— Ну вот и хорошо.

Дзержинский встал. За ним встал и начальник станции.

— Идите и отправляйте поезда, — сказал Дзержинский. — Поймите раз навсегда, что вы больше не маленький человек, не захоластный начальник станции, а такой человек, от которого очень многое зависит. Ну, до свиданья!

И, протянув руку начальнику станции, он спросил:

— А что это были за люди маленького роста, с которыми вы по ночам дежурите?

— Они не маленького роста, — сказал начальник станции. — Это просто мои дети. Мальчики. И для своих лет они даже довольно рослые.

— Вот что, — сказал Дзержинский, — дети! И много их у вас?

— Шестеро.

— Да, — сказал Дзержинский, — порядком. А мне, знаете, даже в голову не пришло, что это дети. Как сон какой-то: «с левого борта пиратский корабль»... «выпей стакан доброго вина...»

Начальник слегка порозовел и опустил голову.

— Что же это значит: «Пиратский корабль с левого борта?» — спросил Дзержинский. — И «вино»?

— Это игра у нас, товарищ народный комиссар, — сказал начальник станции, — иначе им скучно сторожить вагоны. Вот я и придумал такую игру со словами насчёт пиратов и вина. Я раньше выписывал для них журнал под названием «Природа и люди», а также «Мир приключений». Они и начитались. За этими словами и мороз ребятам переносить легче.

Начальник станции совсем порозовел и, смущённо улыбаясь, добавил:

— А насчёт вина вы не думайте. Это у нас кипяток так называется для интересу.

Ещё два дня специальный поезд Дзержинского простоял на станции. За это время ушли поезда, и начальник станции со своим «взводом пиратов» и супругой приходил в вагон наркома пить чай.

На прощанье Дзержинский рассказал мальчикам о том, как он в своё время бежал из ссылки и как со своими товарищами бунтовал в Александровском центре.

Мальчики слушали, раскрыв рты. Провожая гостей, Дзержинский сказал, что если им случится быть в Москве, пусть зайдут к нему в гости.

— Есть, товарищ народный комиссар! — сказал старший.

Специальный поезд грохотал по промёрзшим рельсам, гудел паровоз, возле окна проносились искры, а Дзержинский набрасывал тезисы для доклада, курил и пил холодный крепкий чай.

В Москве была оттепель, стоял ясный, погожий день, с крыш капало.

У себя, в своём служебном кабинете, Феликс Эдмундович снял шинель, фуражку, сел за стол и сказал секретарю, щурясь от солнца:

— Знаете, я там видел очень хорошего человека. Забитый был человек, а теперь выправится, ничего, отойдёт.

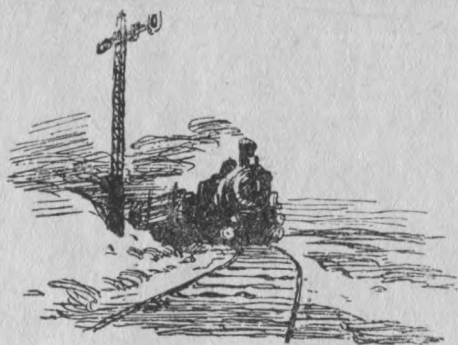
У него много детей, и ему нужно будет помочь. Напомните мне. . .

Секретарь записал в блокнот.

— Кстати, я просил вас найти счётную линейку для этого профессора, — сказал Дзержинский. — Вы нашли? Покажите!

Секретарь принёс счётную линейку и положил её на стол.

Дзержинский уже работал — читал и отчёркивал синим карандашом.





ДВА ПОРТРЕТА

Товарищи отговаривали художника от этой затеи. Они говорили ему, что Дзержинский даже не примет художника, что смешно думать о портрете, что художнику надобно выбросить эту затею из головы. . .

Но он не выбросил затею. Он собрал у себя все фотографии Дзержинского и подолгу всматривался в лицо, так поразившее его несколько дней назад. Совсем случайно он видел Дзержинского издали на улице и там же, в сутолоке, решил: «Я его буду рисовать; я должен его рисовать; я не могу его не рисовать!»

Но что могли дать фотографии — мёртвые и случайные? Разве уловлено ими то удивительно лёгкое, юношеское лицо, которое он видел тогда на улице? И глаза под козырьком военной фуражки — острый блеск зрачков и длинные, необыкновенно красивые ресницы. . .

В тот день художник ехал на извозчике, а Дзержинский — в автомобиле, большом и старомодном. Автомобиль был открытый, Дзержинский ехал один, сидел рядом с шофёром и читал «Правду».

Улицу переходили войска, и ждать пришлось долго. Извозчий жеребец выплясывал рядом с машиной и горячился, бил подковами по булыжной мостовой.

Художник видел, как Дзержинский поднял от газеты голову, как он пальцами поправил фуражку и стал смотреть на жеребца — сначала с удивлением, потом любясь, как он протянул руку и потрепал коня по морде, по бархатистым ноздрям, как конь чуть не укусил Дзержинского и как Дзержинский вдруг засмеялся.

Вот в эту самую секунду художник окончательно решил его рисовать: весёлое, совсем еще юное лицо, прекрасные, чистые глаза и сильная рука с тонкими пальцами. . . Он видел, с какой железной силой эта рука взялась за недоуздок и потянула разгорячённую морду жеребца. . .

Но войска прошли, автомобиль, обдав художника бензиновой гарью, исчез. Рысак, выбрасывая сильные ноги, помчался по Мясницкой, — да разве догнать! . .

★

Удивлённо-весёлые, широко открытые глаза и улыбающийся рот — этого выражения не было нигде. Фотографии были серьёзные: Дзержинский у телефона, Дзержинский у карты, Дзержинский среди своих сотрудников.

Похож ли он на карточках? Наверное, похож, но совсем не похож на того Дзержинского, которого художник видел недавно в автомобиле на Мясницкой.

Нет, рисовать по фотографиям невозможно!

И художник стал искать человека, который познакомил бы его с Дзержинским. Искал он долго и безуспешно до тех пор, пока один комиссар Чека не посоветовал ему бросить раз навсегда всякие попытки попасть к Дзержинскому по знакомству.

— Но что же мне делать? — спросил художник. — Ведь должен я попасть к нему.

— Ну и идите.

— Меня же не пустят.

— А вы попробуйте.

— Что же пробовать, когда это безнадежно!

— А вы всё-таки попробуйте. Запишитесь на приём. И скажите отцу прямо и честно, что вы хотите рисовать...

— Какому отцу? — не понял художник.

Комиссар слегка порозовел, поправил очки и, глядя в сторону, объяснил, кого чекисты называют отцом. Было странно слышать, как седой человек, запинаясь от неловкости, с суровой и грубоватой нежностью говорит об отце чекистов.

— Да-с, — сказал он, — из моих слов вы можете без особого труда догадаться, что к Дзержинскому по знакомству не попадают. Если у него есть хоть одна секунда времени, он вас примет без всяких знакомств, а если времени у него нет, то не примет, от кого бы вы ни пришли. Мой вам совет, дорогой юноша, попытайтесь. Попытка — не пытка, а спрос — не беда. В одном я вас могу уверить со спокойной совестью: с вами будут абсолютно вежливы, и если вам будет отказано, то в такой форме, что вы обиды не испытаете.

— Я должен написать его портрет! — сказал художник.

— Желаю вам удачи, — ответил комиссар.

В дежурной он прождал около часу, курил и обдумывал, как он войдёт к председателю Чека и что ему скажет. Он приготовил короткую и убедительную речь; ему казалось, что речь хороша и выразительна. Несколько раз в уме он повторил всё, с первого до последнего слова, и остался доволен собой.

Наконец дежурный вызвал художника и протянул ему пропуск. Художник вошёл к секретарю Дзержинского и не очень вразумительно рассказал: он художник, хочет писать портрет Дзержинского, это необходимо, и об отказе не может быть и речи... Секретарь слушал молча, смотрел на художника и ладонью поглаживал гладко выбритый подбородок. На лице у него появилось терпеливое выражение.

Наконец красноречие художника иссякло, и он смолк.

— Я вас совершенно понимаю, — произнёс секретарь, — но вся беда заключается в том, что Феликс Эдмундович чрезвычайно занят. Очень занят. Занят всегда, постоянно, круглый год.

— Я должен его писать, — решительно ответил худож-

ник, — понимаете, должен. У меня нет другого выхода. Писать портрет Дзержинского — это мой долг.

Секретарь вздохнул. Он уже с любопытством смотрел на художника: какой молодой, а какой напористый! И сердитый. Минуту посидел, рассердился и заходил по комнате, от папиросы отказался, закурил свою.

— Значит, никак нельзя?

— Предполагаю, что невозможно.

— Тогда разрешите мне повидать товарища Дзержинского, — сухо сказал художник, — я не задержу его более трёх минут.

— Задержите, — ответил секретарь.

Художник молчал.

Секретарь вздохнул и вышел. Вернувшись, сказал:

— Идите, но... — махнул рукой и не кончил фразу.

С бьющимся сердцем художник отворил дверь.

Комната, в которую он вошёл, была вся залита солнечным светом. Дзержинский сидел за столом, слегка подняв голову, приглядывался к посетителю. Художник назвал себя. Приготовленную речь он забыл. Теперь у него возникла новая идея: если Дзержинский откажется позировать, затянуть разговор, просидеть здесь возможно дольше, чтобы запомнить лицо, глаза, рот, лоб. мгновенные изменения в выражении лица, поворот головы, манеру сидеть за столом, щуриться, улыбаться, сердиться. Главное, — чтобы не выгнал. Пусть говорит, что не может. Конечно, не может. Ясно, не может. Но художник будет сидеть. Будет впитывать, как губка, все особенности этой комнаты.

Телефоны на столе — как их много! Ширма, за нею кровать, покрытая простым солдатским одеялом, шкаф, шинель висит на крючке...

— Я очень занят, — как сквозь сон, услышал художник, — очень. Может быть, можно обойтись без портрета? В голосе Дзержинского звучала просьба. Глаза же смотрели вежливо, холодно и внимательно.

— Ваш портрет необходим для выставки, — произнёс художник, — категорически необходим!

— Мне некогда позировать.

— Я постараюсь вас мало беспокоить и поскорее кончить.

Он говорил, совершенно не надеясь на успех, только для того, чтобы не уходить из кабинета, чтобы запомнить ещё складки гимнастёрки, лукавую усмешку. Кстати, почему он улыбается? Длинные пальцы, глаза с красными жилками, любопытные, внимательные. . .

— А может быть, можно не рисовать меня?

— Нет, нельзя.

— Неужели так необходим мой портрет?

— Нет, нельзя.

Дзержинский внезапно рассмеялся. «Чему он? — подумал художник. — Вероятно, я что-нибудь сказал невпопад?»

— Какими сердитыми глазами вы смотрите на меня, — сказал Дзержинский.

Сейчас у него совершенно другое выражение лица. Но над чем он смеётся? Впрочем, это не важно. Важно запомнить это выражение, только бы запомнить, всё остальное не важно! Но вдруг художник услышал слова, странные и совершенно неожиданные:

— Хорошо. Приходите сюда и работайте. Только я тоже всё время буду работать. Позировать мне некогда. Мы оба будем работать, каждый по своей части, и постараемся не мешать друг другу. Вы согласны?

Это была полная победа. Выйдя из кабинета, художник прошёл мимо секретаря, высоко подняв голову.

На следующее утро художник получил лошадь и перевёз в секретариат тяжёлый мольберт, ящик с красками, подрамник с холстом, коробку с кистями и многое другое, необходимое для работы.

— Всё или ещё поедете? — спросил секретарь, неодобрительно оглядывая инвентарь художника.

— Всё, — сухо ответил художник.

Пока Дзержинского не было, он выбрал себе место в кабинете, установил мольберт, поставил ящик с красками и сел на стул покурить. Вошёл секретарь, спросил:

— В полной боевой готовности?

— Да, — коротко ответил художник.

Приехал Дзержинский, поздоровался и молча сел работать. Художник сидел, не двигаясь, изучал цвет лица, костюм, приглядывался к рукам. Обдумывал, решал, но в этот день так ничего и не решил, и тихонько, не прощаясь, чтобы не мешать, вышел.

На следующее утро секретарь сказал ему, кивнув на совершенно чистое полотно:

— Я вижу — вы здорово поработали вчера!

В это утро художник углём стал набрасывать на холсте контуры будущего портрета. Работа не удавалась сразу. Порою он встречался с Дзержинским глазами, и тогда ему казалось, что в глазах Феликса Эдмундовича мелькает лукавый огонёк. Казалось, Дзержинский говорил: «Что? Трудно? Всё равно позировать не буду!»

Так прошло несколько дней.

Осень стояла погожая, тихая, солнечная, окна в кабинете постоянно держали открытыми; тишину нарушали только секретарь да телефонные звонки. Дзержинский сидел за своим письменным столом почти всегда в одной и той же позе: наклонившись над бумагами, с карандашом в руке. На худое лицо падали тени от ресниц. Много курил. Однажды, закури-вая, спросил у художника:

— Вас не раздражает?

— Что?

— Табак. То, что я курю.

— Я ведь сам курю, Феликс Эдмундович.

— Почему же я не видел вас с папиросой? Курите, пожалуйста, не стесняйтесь.

Уже шла работа красками. Как-то, досадуя на то, что Дзержинский слишком низко опускал голову над бумагами, художник попросил:

— Посмотрите на меня.

Дзержинский поднял голову. В глазах мелькнуло удивление.

— Одну только минуту посмотрите на меня, — с мольбой и отчаянием в голосе сказал художник.

Секунду Дзержинский смотрел серьёзно, потом вдруг засмеялся и сказал:

— Когда вам понадобится, вы мне говорите, пожалуйста. Я буду на вас смотреть...

Но когда художник попросил, чтобы Дзержинский посидел в такой позе, которая нужна была для портрета, Феликс Эдмундович почти с ужасом воскликнул:

— Позировать?

— Только минуту, — попросил художник.

Позировать ему было некогда; позируя, он чувствовал себя неловко, но он видел, как мучается художник, и жалел его.

— Ну, давайте, я специально для вас посижу, — предложил он однажды, — хотите? Только немного. Как надо сидеть? — Рассердился и тотчас же засмеялся:

— Беда мне с вами.

Зазвонил телефон. Дзержинский взял трубку, долго слушал молча, потом заговорил.

— Всё это пустяки, — сказал он, — вздор, несусветная чепуха. Я вчера сам был на городской станции в этом... в этом... как его...

— В гостинице «Метрополь», — подсказал художник.

— Да, в «Метрополе». Это чистейшее безобразие то, что там происходит. Желающие ехать записываются у одного из предприимчивых пассажиров, потом приходят на перекличку вечером, к десяти часам, потом утром, часов в пять. Совершеннейшее безобразие!

Он ещё помолчал, потом крикнул в трубку:

— Вздор. Я сам пробыл там полночи, а вы ничего не знаете. Тот, кто записывает очередь, получает пять процентов стоимости билета, это я точно знаю, это мне доподлинно известно. Я нарочно стоял в очереди. Так что извольте поручить кому-либо выяснить всю постановку дела, только без шума. И пусть доложат мне, — надо всё это упорядочить...

Положив трубку, он закурил, потом сказал художнику:

— Бывают же на свете такие горе-рабочники!

Уезжая домой, он спросил художника:





— Отвезти вас?

— Пожалуйста, если вам по пути.

Он снял с вешалки шинель, оделся и подождал художника. Красивое бледное лицо Дзержинского выглядело усталым, он то и дело закрывал глаза и, когда спускались по лестнице мимо напряжённо глядевших часовых, спрашивал:

— Очень устаёте? Это, наверно, очень трудно — рисовать? И похудели вы за это время. Главное — чего волноваться? Портрет у вас получается отличный.

С этого дня Дзержинский по утрам заезжал за художником, а вечерами отвозил его домой. Как-то у них зашла речь вообще о живописи, и Дзержинский обнаружил незаурядные познания в ней. Художник спросил, рисовал ли Дзержинского кто-нибудь.

— Рисовал, — сказал Дзержинский, — был один, рисовал. Только не дорисовал. Я ему перестал позировать. Знаете почему?

— Почему? — спросил художник.

— Потому что он стал у меня просить железнодорожные билеты. Всё у него жена куда-то ездила. Ну, вот... он бывало порисует немного и билет попросит. А я билетами не распоряжаюсь. Так он меня и не дорисовал...

★

Отношения с секретарём у художника оставались прохладными. Разговаривали обычно, посмеиваясь друг над другом. Однажды секретарь сказал:

— Я, знаете ли, совсем привык к вам. Мне кажется, что мы еще долго будем вместе. Может быть, состаримся — вы за картиной, я за своим столом. Как вы думаете?

Художник промолчал. В этот день Дзержинский предложил ему билеты на концерт.

— Спасибо, не пойду, — сказал художник. — Работа у меня идёт отвратительно, поеду домой, подумаю. Какие уж тут концерты! Мне посторонние впечатления будут только мешать.

Дзержинский улыбнулся одними губами.

— Что же делать тем, которые всю жизнь очень заняты? — спросил он.

— Не знаю, — сказал художник.

Два последние дня Дзержинский позировал по часу.

На прощанье он дал слово художнику позировать как-нибудь потом, специально для профиля. Но попрощаться не успели. Зазвонил телефон, и Дзержинский взял трубку. А секретарь в это время уже выносил из кабинета мольберт, ящики и коробки. . .

— Пожили, пора и честь знать, — говорил он, провожая художника. — Смотрите, какую вы нам тут грязь развели. . .

И нельзя было понять, серьёзно он говорит или шутит, этот секретарь.

*

Через три года художник опять рисовал Дзержинского. Он рисовал Феликса Эдмундовича в гробу. Лицо Дзержинского было таким же красивым, тонким и усталым, как при жизни. Высокий лоб был избороздён морщинами, и от ресниц падали тени. . .

Художник рисовал по ночам — с трёх до шести утра.

В зале стояла тишина, пахло еловыми ветвями. У гроба неподвижно стоял караул.

К художнику подошёл секретарь, постаревший, с мешками у глаз; увидел рисунок, губы у него задрожали.

— Вот, рисуете, — сказал он, — как тогда. . .

Отвернулся и замолчал. Потом вдруг заговорил, близко наклоняясь к лицу художника, не сдерживая слёз:

— Вы знаете, что он сказал в день своей смерти, знаете? за несколько часов? Он сказал на Пленуме ЦК, что. . . — секретарь задохнулся и замотал головой, — что. . . «вы знаете отлично, моя сила заключается в чём? Я не щажу себя никогда». И все с мест закричали: «Правильно!» Он оглядел зал и дальше стал говорить: «Я не щажу себя. . . Никогда. И поэтому вы все здесь меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. . .»

Секретарь задохнулся от душивших его слёз, ушёл в угол зала и долго стоял там в полутьме, прислонившись лбом к холодной стене. . .

В эту ночь, уже под утро, к гробу пришёл Орджоникидзе и стоял долго, не двигаясь, смотрел в мёртвое лицо Дзержинского, потом поправил подушку под головой Феликса Эдмундовича. . . У гроба подолгу стояли Сталин, Молотов, Ворошилов, Куйбышев. . .

Тут видел художник жену и сына Дзержинского.

И странное дело: рисуя мёртвого Дзержинского, художник думал о нём, как о живом. Теперь всё чаще и чаще он представлял себе Мясницкую в тот знойный летний день, автомобиль и Дзержинского, протянувшего руку к недоуздку рысака. . .

Или вспоминал глаза Феликса Эдмундовича — тогда, когда он писал в кабинете портрет: прекрасные глаза — весёлые и строгие в одно и то же время.



СОДЕРЖАНИЕ

Отец	5
Картошка с салом	10
В школе	13
Путешествие из Петрограда в Москву . . .	18
В подвале	22
Случай	25
Народное образование	31
Ночной разговор	36
Начальник станции	40
Два портрета	50

ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Ответственный редактор **Г. Антонова**

Художник-редактор **Ю. Биселев**. Технический редактор **Н. Сусленикова**. Корректоры **А. Назарова**
и **А. Павловой**. Подписано к печ. 7/V 1952 г. М-01787 70 × 9²¹/₁₆. Бум. л. 17¹/₈ + 5 вклеек. Печ. л. 5,1.
Авт. л. 2,22. Уч.-изд. л. 3,03. Заказ № 102 Тираж 30 000. Цена 2 р. 45 к. (Номинал по преysкурantu 1952 г.)
2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Софетская, 7.

2 р. 45 к.